

ДАВНО уж убедился в одном показателе — в одном показателе — в одном показателе многих произведений так называемой «бытовой» прозы. Пока читаешь, бывает мило, любопытно, узнаваемо, есть силуэты характеров, нечто вроде психологии. Но только закрыл такой рассказ или повесть, как почти тут же вабыл. В душе ничего не осталось: ни чувства, ни мысли. А если и осталось, то какое-то слишком общее, размытое впечатление. И, закрыв книгу, ты недоуменно или облегченно пожмешь плечами: «Ну и что? А что, собственно, автор хотел сказать своей историей?» Вот и сейчас, когда я закрыл книгу Г. Абрамова «День до вечера», мне влетел в голову простой вопрос: «Ну и что?» Вернее, вопрос возник

Мне кажется, что умение наблюдать и описывать внешние проявления самого Г. Абрамова. Нет, не могут удовлетворить сегодня этюды, эскизы, зарисовки, сценки, порой похожие на начатую, но не отделанную картину, не одухотворенные серьезной художественной мыслью. Сколько бы ни иронизировал над своим инфантильным двадцатидухлетним героем писатель — это не спасает рассказ («Ослушник»). Читатель все уже знает наперед. Как оно будет. События запрограммированы. Характеры тоже. Ты все еще невольно надеешься, ждешь взлета авторской мысли, поворота расхожего сюжета, но тебя ошаривают очередной «сценной любовью».

Таков писание того, что вижу, легко, оно не требует напряжения мысли. Трудно вырваться из протокольной обстоятельности ненужных частностей, скучновато становится в мире прозы, неинтересно с одинаково не желающими

Геннадий АБРАМОВ
«ДЕНЬ ДО ВЕЧЕРА»
Рассказы и повести. Издательство «Советский писатель». М. 1983.

Нет, все-таки что бы там ни говорилось в пользу многих наших молодых прозаиков, но робкими шагами приближаются они к новизне чувств и мыслей.

Доверяя своим персонажам повествование, автор и сам оказывается неспособным передать общий смысл жизни, совершить «прорыв из быта в бытие». Рассказ у него так и остается отдельным случаем из жизни, куском быта, осколком... Вот где главная моя претензия, вот о чем скорблю, закрывая книгу. И становлюсь все осторожнее: читать или нет?

Поверь, читатель, когда из рассказа в рассказ на тебя сваливают навязчивые подробности ни о чем, когда снимается лишь верхний слой жизни и описывается то, что мы знаем и без литературы, когда нам «жизнь картинную» подают как настоящую, то будешь благодарен человеческой памяти, способной забывать ненужную информацию, и невольно возникает вопрос: «А зачем мне все это рассказано?»

Обогатил ли я духовно? Нет. Потряс ли прозаик душу? Нет. Заставил меня содрогнуться? Нет. Открыл мне хоть что-то в жизни? Нет. Тогда зачем?.. А?

Ведь ты писатель, то есть философ, проповедник, учитель, сеятель...

Несколько лет назад наш известный критик возмущался беллетризмом. Пусть. Я же называю жемчужину зовут пса), к несчастью, тетка...

Жаль, что «такая жизнь», такое привычное воскресное блаженство было потревожено смертью безмятного одинокого старика. Он умер по дороге из магазина. И тут героя посещают кое-какие мысли. (Наконец-то дождались!) Но все испортил симпатяга пес — подбежал и вытаскил из авоськи старика сардельку. Стыд. Срам. «Пес смял, сломал высокую торжественность момента...» Это же надо. Умер человек. А здесь: смята высокая торжественность момента... Полет мысли сломан.

Вскоре проходит и «потрясение» героя: «К вечеру мы дружно уверились, что воскресный день прошел, как, в общем, и положено воскресному дню, — сытно, вкусно, в желанном мирном безделье».

Такая у них и вокруг жизнь? Неужели действительно такая?

ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОЙ КНИГЕ

ВИКТОР ГОРН абсолютно прав — «трудно не писать, как все». Автору, сравнительно недавно пришедшему в литературу, действительно, очень трудно во всем и всюду уклоняться от всеобщенных интонаций и эмоциональных клише, трудно уберечь себя от опасного искушения писать так, как все нынче пишут, как общепринято.

Не стану таить от читателя: Геннадий Абрамов далеко не всегда бережется, далеко не всегда уклоняется от следования среднелитературным и среднелитературным курсом. Таковы — и здесь я решительно разошусь с В. Горном — именно «Жизнюшка», «Долг», «Ничья», «Помощница», то есть как раз те вещи, присутствие которых в книге «День до вечера» несколько умеряет желчную досаду моего оппонента и даже вселяет в него некоторые надежды.

Эти рассказы и в самом деле трогают, но только те душевные струны, которые так часто и так основательно задеваются русскими писателями на протяжении последней, как минимум, четверти века, что послушно, едва ли не автоматически отзываются теперь на каждое беллетристическое касание. После Шукшина и Белова, Федора Абрамова и Гавриила Троепольского, Рубцова и Жигулина, задавшихся целью пробудить в читателе «чувства добрые», после уроков милосердия, совестливости, сыновней вины и родственной участливости, что были преподаны обществу современной поэзией и прозой,

— после всего этого беллетристу надо быть вовсе уж неумехой, чтоб не умилила публику историей про старушку, дочкой отсылаемую к сыну, а сыном — к дочке, чтоб не разбудить наши легко-возбудимые нервы рассказом про смиренного мужика, сбжавшего из больницы и пропавшего в огороде в предсмертные свои часы...

Геннадий Абрамов — отнюдь не неумеха. Его рассказы, даже из числа тех, что сложены по чужим выкройкам, — это все-таки не вполне «...разыгранный Фрейдиц перстами робких учениц». Свежая, колоритная деталь, точно выбранное просторное предложение, умелое подцвечивание паетики столь не частым ныне юмором — все идет к делу и вкупе с безу-

сказом о профессии. Примаво читателя, он не книгоману нам показывает по преимуществу, а совсем другое — нескончаемый людской поток, что бежит, струится, захластывает городские магистрали, распадается на отдельные лица у касс, турникетов и лотков, а затем вновь сливается в общую, анонимно-безликую массу, вновь бежит, струится и захлестывает... Как увидеть, выделить человека в этой крутоверти, как постигнуть его? Вопрос совсем непростой для литературы, нажившей огромный социально-психологический опыт, исследуя человека в условиях семьи, коммунальной квартиры, коллектива, сальского «мира», небольшого городка, то есть в тех условиях, где взаимодействие индивидуаль-

от конфликта в очереди, располагает, быть может, весьма богатым внутренним миром и т. д. и т. п. Но он, Геннадий Абрамов, знает также и то, что психология «толпы» встраивается в состав души и характера, что-то очень важное там переменяет. И первая здесь примета — истощение душевных, а вслед за ними и духовных сил. Человека с накопившейся усталостью от навязанных ему «толпой» формальных контактов, словно бы перестает хватать на контакты неформальные, индивидуализированные, определяющие его как личность. Душевные запросы у героев Г. Абрамова налици, беда лишь в том, что их духовной энергии достает только на Сименона. Желание пострадать ближнему нелицезвует — оно

гражданского смысла ГИОВ. У него, у Геннадия Абрамова, душа болит за своих героев — не чужие же... За двадцатидухлетнего «ослушника», которому не то обидно, что уличная прелестьница обобрала его подчистую, а то, что после «ночи любви» она так и осталась для него незнакомкой, «человеком из толпы» — так что при следующей встрече может, пожалуй, и реализоваться старый-престарый анекдот: «— Простите, девушка, мы, кажется, уже спали с вами? — Возможно. А вы что, считаете это поводом для знакомства?» Душа писателя болит за все тех же «зачехленных», никому на свете не интересных сименонолобов и собаководовладельцев, за тех, кому гвоздь в башмаке застит все мировые проблемы...

Виктор ГОРН
«БРОСЬ, НЕ ДУМАЙ...»

в связи с некоторыми рассказами. Здесь я должен сказать, что отношение к книге Г. Абрамова у меня все-таки двойственное. В его рассказах есть то самое «нечто», которое позволяет говорить о несомненном, я бы сказал, человеческом таланте прозаика. Во мне и со мной будут жить судьба матери из повествования «Жизнюшка», боль Фомы Фадеева, отдающего свой последний долг дому и земле («Долг»), «ничья» старуха-мать, которую родные дети сплавляют друг другу каждую неделю («Ничья»)...

«Идите ко мне, бесчувственный, — иначе, тише, наполненное сказала Зоя.

— Что? — Ко мне, говорю, идите. Ближе, — она привстала на кровати и потянула к нему руки. Одеваю скользнула с плеч, открылись груди. — Ну, идите же».

Нет, поистине многих наших прозаиков словно «закликило» на описаниях подобного рода... А может, таково свойство беллетристики, заороженной потоком? Трудно не писать, как все. Трудно найти собственные художественные идеи. Но когда «в струе», тогда и художественные приемы становятся общими, ничьими. Они безжалостно эксплуатируются, до полной их размытости, безразличия к необходимости их употребления в той или иной истории.

«Утром он встал, умылся и выпил кофе с булочкой. Перед уходом вошел в спальню, обнял полуспящую жену, которая в это время обыкновенно еще нежилась в постели, на кухне взял приготовленный для него с вечера сверток и вышел.

В метро он читал вечерние газеты...»

Так начинается и так же заканчивается рассказ «Фокстерьер». Рассказ о глухом одиночестве «слабого, потерявшегося» человека, единственная «котушина» которого фокстерьер Санчо. С ним он совершает свой ежевечерний прогулки после долгого, утомительного рабочего дня. Г. Абрамов стилистически нарочито подчеркивает бесхитривую замкнутость жизненного круга.

Но беда в том, что аналогичный прием описания «подробностей жизни» автор повторяет и в других произведениях. Поло-

ми думать, размышлять персонажами.

Вообще, герой рассказов, о которых идет речь, — человек «беспотупочный», «зачехленный» инфант, «несложившийся субъект тридцати пяти лет, слабый, инертный».

Он любит «второй выходной» (рассказ «Второй выходной») с его обильными завтраками, обедами, ужинами. Он любит «с интересом поговорить ни о чем». Он любит гулять с собакой, которое позволяет автору вместе с героем вновь старательно утомить читателя названием, фиксированием всего того, что попадает на глаза, сообщается о том, где, в каком месте пес «пометил травку», поделится тем, что у Джульетты (так романтично зовут собаку) — симпатии Прохора (так вечно зовут пса), к несчастью, тетка...

Жаль, что «такая жизнь», такое привычное воскресное блаженство было потревожено смертью безмятного одинокого старика. Он умер по дороге из магазина. И тут героя посещают кое-какие мысли. (Наконец-то дождались!) Но все испортил симпатяга пес — подбежал и вытаскил из авоськи старика сардельку. Стыд. Срам. «Пес смял, сломал высокую торжественность момента...» Это же надо. Умер человек. А здесь: смята высокая торжественность момента... Полет мысли сломан.

Вскоре проходит и «потрясение» героя: «К вечеру мы дружно уверились, что воскресный день прошел, как, в общем, и положено воскресному дню, — сытно, вкусно, в желанном мирном безделье».

Такая у них и вокруг жизнь? Неужели действительно такая?

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТДЕЛА КРИТИКИ

Как видит читатель, хотя в споре о книге Геннадия Абрамова провалились две взаимосключающиеся, казалось бы, точки зрения, оба критика стремятся прежде всего помочь молодому, еще только нащупывающему свой путь прозаику, поддержать в его произведениях то, что заслуживает внимания, побуждает к ответному созерцанию и размышлению. Думается, что такой разговор по большому счету всегда небесполезен и для автора, и для его читателей, тем более что рамки конкретного обсуждения конкретной книги в данном случае широко раздвинуты, и речь здесь идет, собственно, о принципах понимания и оценки некоторых новейших явлений современной прозы. Вот почему, признавая правомерность многих критических замечаний В. Горна, критику молодого писателя, отдел критики «ЛГ» соединяется в главное и мнению С. Чупринина, счи ающего, что серьезного творческого успеха можно достичь не в «повторении пройденного», а в неустанном поиске новых форм художественного освоения новой социально-психологической реальности. Важно только выбрать крупную творческую цель, недвусмысленно определить свою гражданскую позицию по отношению ко всему, что мешает нам в жизни, увлечь читателя собственным общественным неравнодушием и писательской взволнованностью...

ОТДЕЛ КРИТИКИ «ЛГ»

...А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВДУМАТЬСЯ?
Сергей ЧУПРИНИН

ловной авторской искренностью порождает у читателя приятное впечатление если уж не художественной достоверности, то по меньшей мере жизненной узнаваемости.

И все же здесь, я думаю, даже В. Горн не станет со мною спорить — лучше читать «Последний поклон» и «Пелагею», «Плотничьи рассказы» и «Прощание с Матерой», чем трогательные вариации Геннадия Абрамова на темы «печально-одиночьи» стариковских и старушечьих судеб. Речь и там, и тут вроде бы про одно и то же, но... Там художественное и нравственно-психологическое открытие — тут вариационная разработка. Там литература — тут, если честно, беллетристика, хотя и неплохого класса. Там тема — тут вариации...

Так что, будь в книге «День до вечера» только это, о ней вряд ли стоило бы спорить. Но в книге, по счастью, есть не только это.

И разговор о том, что переводит Геннадия Абрамова из разряда мастеровитых беллетристов в разряд писателей, полноценно представляющих свое поколение, уместно начать с его повести «Слово нарассавет». В этих «записках книгоноши» — опять же согласимся с В. Горном — есть немало от «физиологического очерка» на манер XIX века, и любопытствующий читатель не без пользы для себя узнает, «как это делается», как, почему и для чего становятся люди за лотки с нехорошими книгами, открытками и буклетами, а лотки эти в большом городе попадают на любом бойком месте.

Не надо только думать, что Г. Абрамов ограничивает свою задачу «рас-

ностей лично окрашено и где именно в этом личностном взаимодействии человеку удается проявить себя достаточно полно.

Толпа — совсем другое дело. В ней на человека, жаждущего пообщаться, раскрыть душу, себя показать, смотрят с опаской: то ли пьяница, то ли псих ненормальный... Можно сколько угодно бранить эту взаимоотношенность, эту привычку не слышать, что происходит на соседней ступеньке эскалатора, и наша проза последних лет собрала щедрый урожай с сюжета о простодушном провинциале, очутившемся вдруг в столичной очереди, толпе или в присутственном месте, где жизнь идет по тем же правилам толпы. Провинциала неизменно жаль, но что ж делать-то, если, по строго научным данным, человек без угрозы своему психическому здоровью может вступить за день в неформальные контакты лишь с более или менее ограниченным числом людей, если даже количество лиц, которые мы просто видим в кинотеатре, в метро, у подъездов домов-муравейников, не может превышать некоей критической цифры — иначе перегрузка, стресс, накапливающаяся нервная усталость...

Геннадий Абрамов, как и многие его товарищи по новому литературному поколению, пытается понять «человека толпы» и, если можно так выразиться, «толпу в человеке». Он очень хорошо знает (и все мы это знаем), что женщина, обхаживавшая в автобусе старушку за то, что та загоразивала проход, может, оказавшись дома, в гостях или на работе, оказаться и приветливой, и заботливой, и милосердной; знает, что мужчина, спрятавшийся за газеткой

вполне удовлетворяется несколькими минутами бездейственного топтания подле умершего на улице незнакомого старика. Пострелность иметь в жизни цель никогда не дается, но этой целью, за отысканной от большего, для абрамовского героя легко становится долготрудный фокстерьер чистой масти, «главная его (героя. — С. Ч.) радость, и смысл, и оправдание жизни...»

Чтоб быть верно понятым: Геннадий Абрамов (во всяком случае, в этой книге) пишет не бездуховно и не бездушевно. Нет, его предмет иное — слабодушие, пониженная или, скажем так, разжиженная, обескровленная духовность, предел досягаемости которой — томик Сименона, читаемый украдкой в служебные часы, да небрежительно-философские разговоры о жизни с долготрудным Санчо. Пишет Г. Абрамов — в последний раз согласуясь со своим оппонентом — не мысли сименонолобов и собаководовладельцев, потому что отнюдь не мыслями отличаются они друг от друга, а состояниями, привычками, бытом: у одного фокстерьер, у другого дворняга, один любит гулять в лесу, другой по Якиманке, один по утрам пьет кофе с булочкой, другой предпочитает более плотный завтрак.

Этим, как говорится, и интересны... Неужели только этим?! Да что ж это такое делается в жизни, если здоровый, непыющийся, рабочий, семейный, интеллигентный человек видит свою единственную отраду, единственное оправдание своего бытия на земле в псе, хотя бы и самой чистой масти?.. Спокойно, очень спокойно пишет своих героев Геннадий Абрамов. Но за этой мнимой невозмутимостью с каждой страницей рвутся и сочувствие к герою, и стыд за него, и растерянность, и полный

И что же, разве не слышит критик этой боли и этого негодования?

Нет, не слышит. Почему же — ведь в повестях и рассказах Г. Абрамова все сказано, кажется, достаточно внятно? А потому — вернемся к началу статьи, — что если писателю трудно не писать, как все, то и критику трудно не читать, как все, как он уже привык это делать. Инерция восприятия — великая вещь. Настолько великая, что слух критика, приуроченный к постижению определенной повествовательной манеры, словно бы замыкается перед новыми звуками и новым литературным ладом.

В этом, мне кажется, и состоит драма восприятия прозы не только Г. Абрамова, но и многих его товарищей по поколению. Критика, в том числе и самые сильные ее представители (И. Дедков, скажем, или И. Золотуский), настойчиво ищет в этой прозе то, чем она уже привлекла дорожить в книгах Ф. Абрамова, В. Распутина, Ю. Казакова, Г. Семенова и проч. и проч. И — в лучшем случае — явно поддерживает как раз элигонские начала, все то, что хотя бы отдаленно, ослабленно напоминает уже наличествующие образцы. Чаще же всего, поскольку «искомое знакомое» в этой прозе не прощупывается, критик (вот как В. Горн, к примеру) досадливо разводит руками: да нету в этой прозе ничего, совсем ничего нету...

И все-таки есть! Но оно новое, другое, нежелито, к чему все мы успели привыкнуть. Не «лучше» прежнего, часто даже от носительно «хуже» (может быть, пока «хуже?»..), но другое, новое. И это «другое» можно по достоинству оценить лишь одним единственным способом — вчитываясь повнимательнее, вслушиваясь поглубже...